

ЛЯМАН БАГИРОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Лекция

*Светлой памяти педагога моего, Аслана Мамедали оглу Мамедли,
научившего меня прощению*

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.*

А.Пушкин

– А-а-а!!! Э-э-э!!! – с такими громогласными воплями мы бесились на перемене между лекциями и совсем не заметили, как прозвенел звонок, и в аудиторию вошел плотный сутулый человек. Он встал за кафедру, негромко откашлялся, но на него никто не обратил внимания. Какое дело 18-летним девчонкам до какого-то педагога?

Он терпеливо ждал. Наконец, мы успокоились и воззрились на него.

Лекция показалась скучной. Что привлекательного могут таить в себе слова «префикс», «предикат», «сложное синтаксическое поле» и др. такие же монстры, когда за окном шумит осенняя листва, а из дома напротив пахнет горячим кизилковым вареньем? Да и вообще, сентябрь только начался, и еще так не хотелось думать об учебе.

Педагог окончил лекцию, сухо попрощался и исчез так же незаметно, как появился.

Разведывательно-информационная работа в девичьей группе всегда поставлена хорошо. Обычно через два занятия мы уже все знали о преподавах, вплоть до того, как звали их бабушек и что они предпочитают есть на завтрак.

Но этот товарищ оказался твердым орешком. Как мы не бились, не смогли узнать ничего, и... вскоре потеряли к нему интерес.

Мы вели себя по-свински! Самым бессовестным образом засыпали на лекциях! Глуховатый голос баюкал, словно над ухом шуршал дождь, и синтаксические термины качались в сознании, как далекие острова.

Слава Богу, по его предмету не было экзамена, а только зачет. Очень трудно сдавать экзамен человеку, чей облик у тебя ассоциируется с чем-то уютным, сонным и теплым.

Вот и на этой ноябрьской лекции все было как обычно. Педагог ровным голосом отчитал положенное и принялся складывать бумаги в портфель. Мы облегченно вздохнули и тоже задвигали сумками. Слава Богу, это была последняя пара, и свобода уже маячила у входа!

Но педагог не уходил. Это было странно. Он задумчиво смотрел в окно, на которое ветер прилепил несколько грязных ивовых листьев. Они никак не слетали и были похожи на огарки свечей. Педагог усмехнулся, а потом тихо произнес:

*Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.*

*Факел, ночь, последнее объятие,
За порогом дикий вопль судьбы...
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...*

Мы замерли. Мы не верили своим ушам. Стихи и наш препод были из разных миров. Было такое впечатление, что сухое дерево вдруг покрылось цветами.

– Чье это стихотворение? – спросил педагог.

Мы не знали. Мы не знали многого. Где уж нам было услышать эти ахматовские строки? Шел третий год перестройки – поэзия Серебряного века только появлялась в книжных магазинах. Ахматову в школе мы не изучали. А стихи про сероглазого короля, томно вздыхая, переписывали в девичьи альбомы-анкеты, даже не подозревая, кому они принадлежат.

Пауза затянулась. Педагог еще раз окинул нас взглядом. Двадцать пять девушек – в педагогических и филологических институтах парней раз-два и обчелся. Море девичьего обаяния, ожидания, очарования, смутных (и не очень смутных!) надежд – мы, как застоявшиеся кобылки, переминались с ноги на ногу и ждали, когда нас выпустят из аудитории.

– Читайте больше, – сказал педагог. – Читайте, пока у вас есть возможность читать. Это Ахматова. Стихи, посвященные Данте и Флоренции – прекрасному городу.

Он помолчал. Стало слышно, как ветер прилепляет к окну листья. Они ложились аккуратно, словно решили выложить стекло узором.

– Всего доброго, – сухо попрощался педагог. – Следующая лекция в среду.

– Пожалуйста, расскажите еще про Флоренцию, – тихо сказала одна из нас.

Он остановился. На мгновение показалось, что сутулые плечи его расправились.

– Это займет время, – усмехнулся он. – А вам пора идти.

Мы стояли, как вкопанные. Двадцать пять пар глаз были устремлены на задумчивого и уставшего человека.

– Садитесь, – махнул он рукой, и в глазах его зажглись теплые огоньки.

– Флоренцию не зря называют «колыбелью Возрождения», – зазвучал глуховатый голос. – Этот изумительный город дал миру Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Макиавелли, Данте, Америго Веспуччи и Галилея. Как Данте называли «*divino poeta*» – божественным поэтом, так и Флоренцию можно назвать дивным городом. Может быть, воздух в ней особенный, может, земля какая-то иная, но она рождала и рождала гениев. «...Цветок Тосканы, зеркало Италии, соперница славного города Рима, от которого она произошла и древнему величию которого подражает, борясь за спасение Италии и её свободу», – так писали о Флоренции. А насчет воздуха, это, кстати, серьезно: вдоль города разбит парк, а раньше это были сельские постройки – кашины, и парк был назван так же. Так вот парк этот уже много столетий подряд славится своими ирисами всех сортов и оттенков, и когда они расцветают, то весь город бывает окутан ароматной дымкой.

Мы слушали, завороженные. Где-то очень далеко от нас расцветала божественная Флоренция, и бакинский ветер доносил до нас аромат ее ирисов. «По бездорожным полям Пиэрид я иду, ... и отрадно чело мне украсить чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим прежде меня никому не венчали голову Музы», – вспомнились мне строки Лукреция Кара. Античную литературу, в отличие от поэзии серебряного века, мы изучали очень даже неплохо.

– И на гербе Флоренции изображена вовсе не лилия, как принято считать, а ирис флорентийский, – монотонный голос звучал все увереннее. – И у подножия памятнику Данте в базилике Санта-Кроче всегда свежие ирисы – символ его родины, которую он так и не увидел после изгнания.

Боже, как многого мы не знали!.. Мрачный образ «*divino poeta*» с его Адом и Раем, его неземная любовь к Беатриче, сам его облик – суровое, скуластое лицо с хищным крючковатым носом и запавшим ртом – вот и все, чем был для нас Данте. Два параграфа в учебнике западноевропейской литературы, набившая оскомину строчка: «*Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу*» – и все! Пушкинское – «*мы ленивы и нелюбопытны*», кажется, было сказано про нас.

– Праха Данте в базилике нет. Это кенотаф, «пустая могила», над которой склонились мраморные фигуры безутешной Поэзии и гордой Италии. И только надпись на постаменте: *Onorate l'altissimo poeta* («Почтите высочайшего поэта») – это строчка из дантовского «Ада». Данте умер на чужбине, в Равенне, там и похоронен. Ему пришлось покинуть родной город: он занимал важный пост в городском совете, но был слишком активным гражданином и вмешался в политику. Хотел, чтобы Флоренция была независимой и от императора, и от папы. Но в 1301 году власть во Флоренции захватили сторонники папы – «черные гвельфы», и Данте приговорили к изгнанию. Его обвинили во взяточничестве, вымогательстве, коррупции, да и еще во многих грехах. И поставили перед выбором: заплатить огромный штраф или уйти в пожизненное изгнание. Данте ушел, но бездомным не остался. Он был слишком знаменит, слишком горд и неприступен; это всегда вызывает уважение, а статус «*divino poeta*» вообще внушал сакральный трепет. Перед ним были распахнуты врата других городов. Он жил в Болонье, в Париже, в Вероне, а последние годы перед смертью провел в Равенне. Но под страхом смертной казни Данте не мог вернуться в любимую Флоренцию, и не смог положить ирисы к могиле Беатриче, единственной женщины, которую он любил и которой так и не смог признаться в любви.

Все двадцать пять девичьих уст вздохнули. Педагог улыбнулся и продолжил:

– Но этой платонической любви мы обязаны его произведениями – «Новой жизнью» и «Божественной комедией».

В девять лет он увидел на празднике дочь соседа – восьмилетнюю Беатриче Портинари – и полюбил на всю жизнь. Он любил ее и когда она вышла замуж, а потом умерла в 24 года. Он разговаривал с ней только два раза, и этого было достаточно для прославления ее в веках. Он называл ее «*gentilissima*» (добрейшая) и «*benedetta*» (благословенная). Но, может, для неземной любви и нужен недоступный идеал?..

*Так благородна, так она чиста,
Когда при встрече дарит знак привета,
Что взору не подняться для ответа,
И сковывает губы немота.
Восторги возбуждая неспроста,
Счастливой безмятежностью одета,
Идет она — и кажется, что это
Чудесный сон, небесная мечта.
Увидишь — и как будто через дверцу
Проходит сладость через очи к сердцу,
Испытанными чувствами верша.
И дух любви — иль это только мнится? —
Из уст ее томительно струится
И говорит душе: «Вздыхни, душа».*

(Перевод Е. Солоновича)

Не переставал любить ее и когда женился сам на знатной женщине Джемме Донати. Женился без любви, по расчету, но деловые браки тогда были не редкость. Она родила ему троих детей, и в последние его годы оба его сына и дочь жили с отцом в Равенне, и только Джемма жила отдельно от семьи, и Данте не спешил позвать ее к себе. Беатриче стала на всю жизнь «владычицей его помыслов», когда Данте слагал свою «Комедию» в прославление Беатриче, Джемма в ней не была упомянута ни единым словом.

«Не дыша» ... В тот ноябрьский день я реально ощутила прямой смысл этого выражения. Не дыша, боясь пропустить хоть малейший звук глуховатого голоса, мы внимали рассказу. В моей жизни не было более изумительной и более печальной лекции. С каждым словом я понимала, что для нашего педагога мечта о Флоренции так и останется мечтой, как Беатриче для Данте.

– При жизни Данте даже «Комедию» не все приняли, – продолжал он – Церковь осуждала поэта за то, что он написал произведение на «вульгарном» языке, то есть на народном флорентийском наречии. А в конце XIX века, когда Италия стала единой республикой, это наречие стало основой государственного языка. Вот и не верь после этого, что все поэты – пророки.

А самое интересное, что Флоренция уже почти век раскаивается в изгнании своего великого земляка. Начиная с 1908 года, во второе воскресенье сентября (время, когда умер Данте), мэр Флоренции снаряжает к мэру Равенны делегацию с мольбами о возвращении праха поэта. И подносит в дар самое лучшее оливковое масло для поддержания огня в лампаде его усыпальницы. Но равеннцы непреклонны, и их можно понять: зачем им отказываться от гробницы Данте? А Флоренции раньше надо было думать, когда выгоняла поэта!

Он улыбнулся – высокий сутулый человек – и замолк. Кто-то тихо вздохнул. Оконное стекло уже полностью было залеплено ивовыми листьями, и оно напоминало причудливый витраж. Накрапывал дождь.

– Всего доброго, – откланялся педагог. – До среды.

По дороге домой я чуть было не растянулась на мокром тротуаре. Какая-то темная скользкая масса была под ногами. Вглядевшись, я увидела растоптанный цветок ириса.

Неизвестно, каким образом он очутился на ноябрьской улице. Ирис оставил вокруг себя фиолетовое пятно, словно капли крови сказочного зверя. Пятно постепенно светлело: дождь смывал его с тротуара, чтобы запечатлеть в моем сердце. И грустный ирис Флоренции остался жить в моей памяти, чтобы через много лет расцвести в этом эссе.

*Флоренция, ты ирис нежный;
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадежной,
Весь день в пыли твоих Кашин?
О, сладко вспомнить безнадежность:
Мечтать и жить в твоей глуши;
Уйти в твой древний зной и в нежность
Своей стареющей души...
Но суждено нам разлучиться,
И через дальние края
Твой дымный ирис будет сниться,
Как юность ранняя моя.¹*

¹ Александр Блок «Флоренция». – цит. По книге Александр Блок Стихотворения и поэмы» - Л.: «Советский писатель» 1961г.

Тишина

Нельзя вечно откладывать неизбежное. Нельзя вечно откладывать отдых, потому что усталость неизбежна. И необратима, черт ее дерит!

Какое странное слово: ус-та-лость. Что-то тающее, зыбкое, исчезающее как снег по весне. С одной стороны, хорошо, когда сходит снег и тает лед. Когда нежно (еще не обжигая) светит солнце, все вокруг цветет, и кажется, что старый веник тоже покрывается зелеными листьями. Благодать!

С другой стороны – лед крепок. Он, как стальной позвоночник, держит на себе твою волю, энергию, решимость. В нем есть фактура, он категоричен и полон сил.

И вдруг он тает. Оседает под собственной тяжестью. Перестает быть стальным позвоночником. Ус-таёт. Или тает...

Кто-то спасается сменой обстановки или деятельности, кто-то окружает себя шумом, боясь тишины, кто-то, наоборот, бежит в тишину как в блаженство.

*«И ощутить сиротство как блаженство»*¹. Мудрые строки поэта. За одним исключением. Не сиротство, нет. Тишину.

Переизбыток любых новостей (радостных или печальных) пробивает брешь в человеке. Его эмоциональное состояние нарушено. И чем искреннее человек, тем больше он тратит душевных сил на ответную реакцию.

И я убегаю, ныряю в вожденную тишину как в добрую, уютную сказку, в которой все так просто и понятно. Нет ни горя, ни слез, ни злости. Где можно прильнуть к тишине словно к бабушкиной руке и знать, что от ее прикосновений исчезнет боль и тревога каждого дня.

«И боль, что скворчком стучала в виске, Стихает, стихает», – сказал уже другой, не менее мудрый поэт². И с этими строками я согласна полностью. В тишине слышишь и замечаешь многое из того, чего не видно в суматохе и сутолоке. Тишина целебна, она упорядочивает мысли и – чудо! – силы возвращаются, позвоночник вновь становится стальным и крепким.

Только есть одна опасность. Вечный спутник тишины – обособление. Незаметный, но верный. И так же верно и тихо он делает свою работу – разъединяет, разрывает прежние, казалось бы, крепкие связи. Уходит в прошлое традиция совместного обсуждения прочитанного (потому что и читать стали меньше и все как-то второпях). А традиция семейного чтения вообще канула в Лету. Великое множество имен, которые еще столетие назад были властителями дум, сегодня все больше затягиваются туманом забвения.

Когда-то Достоевский с затаенной печалью заметил:

«...Мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, вовсе и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает со своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать сначала. Разрываются прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается...»

Вряд ли удастся в небольшом эссе восстановить связь времен, ощутить мерное их дыхание. Это, увы, невозможно. Но можно вспомнить об одном из ушедших в вечность, чье имя почти забыто сейчас. Жаль, что забыто.

Стихи Эмиля Верхарна переводились на все языки, имеющие письменность.

Он из сонма тех, кто прославил маленькую Бельгию на весь мир, а это знаменитые мастера фламандской школы живописи, автор «Легенды о Тиле Уленшпигеле» Шарль де Костер, поэт-мистик Морис Метерлинк, автор знаменитой «Синей Птицы». Ну и, конечно, бессмертный Эркуль Пуаро, созданный гением Агаты Кристи.

¹ Белла Ахмадулина.

² Булат Окуджава.

Будущий поэт родился в 1855 году в небольшом фламандском городке недалеко от Антверпена. С детства говорил на фламандском наречии, но в школе его фламандский говор сменился безупречным французским. Закончил юридический факультет Левенского университета, некоторое время был адвокатом, но окончательно посвятил себя литературе.

Уже первые стихи Верхарна отличались непосредственностью и изяществом. Он принадлежал к литературному объединению «Молодая Бельгия». В сборнике «Фламандки» воссоздал в стиле фламандских мастеров XVII в. первозданный быт Фландрии, яркую и щедрую сельскую жизнь с ее конюшнями и коровами, обычной стихией сельчан – дебелих, крепких женщин и могучих мужчин. Он, как никто, умел поэтизировать тяжелый, но такой необходимый и благословенный крестьянский труд.

*Служанки белый хлеб готовят к воскресенью,
Все лучшее у них — мука и молоко...
Их локти голые в стремительном движенье,
И каплет пот в квашню — работать нелегко.
От спешки их тела как будто бы дымятся,
Вздывается волной в тугом корсаже грудь...
И теста рыхлый ком их кулаки стремятся
В упругие, как грудь, шары хлебов свернуть.
В пекарне углей блеск, багровый и угарный...
Служанки, на доске шары сложив попарно,
Швыряют в пасть печей плоть мягкую хлебов.
А языки огня, стараясь ввысь пробиться,
Как свора страшная огромных рыжих псов,
Рычат и рвутся к ним, чтоб в щеки злобно впиться.*

Эмиль Верхарн – человек (городской по рождению) всеми фибрами души истово любил землю. Верхарн-поэт боготворил землю-кормилицу. Земля была для него основой достойного, праведного существования человека. Он и внешне походил на крестьянина – у него были широкие плечи, тяжелая походка, огромные вислые усы. Он носил мешковатую блузу и деревянные ботинки. Стремился работать на земле, мечтал о собственном саде и огороде. Болезненно переносил разрушение и упадок патриархального села, обреченного на убожество и отсталость. С болью писал об этом в сборниках с красноречивыми названиями – «Призрачные деревни», «Сельские миражи». Перед железной поступью города милые сельские миражи рассеиваются, словно дым, люди оставляют село:

*И медленно ложатся на деревни
Болезни, стужа, тьма.
Мороз живет в крови, в костях,
Нужда – в амбарах и клетях,
Нужда и снег в сердца вползают.
Вползает под навес беда,
И стынют, коченеют, замерзают
Сердца и очаги под коркой льда.
У перекрестков, где слились дорог потоки,
Как мертвецы, деревни одиноки...*

«Все дороги ведут в город», – с болью писал Верхарн. Город был для него олицетворением жестокости, ужаса, безысходности, разрушения. Именно гнетущая атмосфера города привели его к глубокому душевному и творческому надрыву.

Он словно предчувствовал свою гибель от средств урбанизации. Выезжая из Руана, он случайно гибнет под колесами поезда. Как вспоминали современники, пожилой и наивный, как дитя, поэт растерялся от обилия людей. Толпа оттеснила его к краю перрона, и он упал на рельсы.

Э.Верхарн отдал должное мистицизму, трагическим видениям. Он был одним из основоположников символизма – вместе с П.Верленом, А.Рембо, С.Малларме и своим земляком М.Метерлинком.

*Это где-то на севере, где, я не знаю,
Это где-то на полюсе, в мире стальном,
Там, где стужа когтями скребется по краю
Селитренных скал, изукрашенных льдом.*

*Это – холод великий, едва отраженный
В серебряном зеркале мертвых озер;
Это – иней, что точит, морочит – бессонный,
Низкорослый, безлиственный бор.*

*Это – полночь, огромный скелет обнаженный
Над серебряным зеркалом мертвых озер,
Это – полночь, что точит, морочит, хохочет,
Но раздвинуть руками гигантскими хочет
Холодный и звездный простор.*

*В дали полуночной безвольной
Это смолкнувший звон колокольный,
Это убранный снегом и льдами собор.
Это хор похоронный, с которым без слов я рыдаю,
Литургия Великого Холода в мире стальном.
Это где-то, – не в старом ли северном крае? – не знаю!
Это где-то, – не в старом ли северном сердце? – в моем!*

Потом он становится социалистом, вступает в бельгийскую рабочую партию, преподает в «рабочем университете», читает лекции в Брюссельском народном доме. В Первую мировую войну, Верхарн пишет огромное количество патриотических стихов. В книге «Алые крылья войны» он оплакивает родину, захваченную немцами.

*И падал за снарядами снаряд
Вокруг, что град;
Но полночью, когда, таинственен и мрачен,
На дымных небесах являлся цеппелин,
Об отступлении не думал ни один,
Бросались дружно все в одном порыве яром
Вперед,
Чтоб тут же под безжалостным ударом
Склониться долу в свой черед...*

*Когда велись атаки на окопы,
Борцы бесстрашные, тот авангард Европы,
Сомкнув свои ряды, как плотную мишень
Для быстрых, ровных молний пулемета,
Стояли твердо целый день*

*И снова падали без счета,
И над телами их смыкалась мирно тень...*

Э.Верхарн превыше всего ценил свободу.

«Он был свободен, – писал в своих воспоминаниях С.Цвейг, – даже от самых крепких оков нашего времени – от власти денег... Успех и слава не наложили на него отпечаток. Его не угнетал страх перед будущим, не давили заботы, не терзало тщеславие, не мучили стыд и угрызения – божественно свободной и безоблачной была его большая жизнь среди маленьких людей...»

Его девизом были слова: «*Toute la vie est dans l'essor*» («Жизнь – это вечный взлет»).

30 книг стихотворений, драматических произведений и прозаических очерков, фундаментальные монографии о художниках, в частности, о Рубенсе и Рембрандте, несколько драм – таково творческое наследие Эмиля Верхарна.

И он же подарил нам непревзойденные строки любовной лирики. Три тома стихов было посвящено любимой жене Марте Массен. В юности она была одаренной художницей, но, став мадам Верхарн, пожертвовала своим творчеством ради мужа. Он же обессмертил ее нежностью.

*Наша любовь, осиянная,
Шелком и золотом тканная...*

*Домик веселый, мой друг ты...
Садик. И зелень. И фрукты.*

*Яблони... Ветер, вздыхающий
Вешними белыми снами,
Кроет скамью лепестками.*

*Голубь-дикарь, рассекающий
Тишь деревенского неба,
В поисках зернышка хлеба.*

*Словно с неба лучистые
Поцелуи упали, –
Два прудка, золотистые
Меж цветов засверкали...*

*Наша любовь осиянно-лучистая,
Грезами тканная, нежная, чистая...*

Трудно что-либо добавить к этим строкам, трудно их комментировать. Кажется, Верхарн выразил в них свой идеал: *Домик веселый, мой друг ты.../Садик. И зелень. И фрукты.*

Трудно дать определение счастью. Оно у всех разное. Но, если верить Стефану Цвейгу, Эмиль Верхарн был счастлив. Он был талантлив, он любил свою работу, и рядом с ним была женщина, преданная ему безраздельно. И самое главное – он был свободен и жил на взлете. Это ли не счастье?..

Так будем же счастливы, несмотря ни на что. И пусть для нас слово «тишина» никогда не станет синонимом холодного «всеобщего обособления», когда безжалостно рвутся все прежние связи.

Пусть оно будет синонимом уюта, мира и доброй, теплой памяти.

Пусть невозможного в стремительной погоне
Достичь ты хочешь, человек, –
Не бойся, что замедлят бег
Дерзання золотые кони!
Твой ум уклончивый ведёт тебя в обход,
Ища проторенных тропинок,
Но ты вступи с ним в поединок:
Дать радость может только взлёт!
Кто вздумал отдохнуть, пройдя лишь полдороги, –
Ему ли одолеть подъём?
Жить – значит жечь себя огнём
Борьбы, исканий и тревоги.
Что виделось вчера как цель глазам твоим, –
Для завтрашнего дня – оковы;
Мысль – только пища мыслей новых,
Но голод их не утолим.
Так поднимайся вверх! Ищи! Сражайся! Веруй!
Отринь все то, чего достиг:
Ведь никогда застывший миг
Не станет будущего мерой.
Что мудрость прошлая, что опыт и расчёт
С их трезвой, взвешенной победой?
Нет! Счастье жгучее изведай
Мечты, несущейся вперёд!
Ты должен превзойти себя в своих порывах,
Быть удивлением своим;
Ты должен быть неутомим
В своих желаньях прозорливых.
Пускай же каменист и неприступно крут
Твой путь за истиной в погоне:
Дерзання золотые кони
В грядущее тебя взнесут!

*Стихи Э.Верхарна приводятся в переводах В.Брюсова.
М.Волошина, Е.Полонской, М.Донского и др.*

Айва и Ахматова

*Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.*

А.Ахматова

Всегда с огромным трепетом относилась к домам, где, по старинному определению, можно было «отдохнуть душой». Меня всегда привлекала магия этого удивительного выражения. «Отдохнуть душой» – слова эти иногда спазмом сводили горло – до того это было хорошо.

У Чехова в бессмертной «Даме с собачкой» есть строки «Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы.» Чехов словно вложил в них все сердце, всю затаенную тоску по теплу, уюту настоящему Дому. Где действительно дышится мягко и славно, и воздух напоен любовью.

Не очень хорошая черта – заглядывать в чужие окна. Но в детстве я не могла отказать себе в этом удовольствии. Уж больно славным казалось небольшое окно первого этажа дома на 1-й Северной. Сколько раз, возвращаясь из школы, я бросала любопытный взгляд на заветное окно. Сквозь зелень палисадника виднелись красно-оранжевые занавески. Но цвет их был не кричащим, а мягким, словно невидимый пекарь выставил противни с румяными пирожками. От этого окно казалось еще уютней.

Оно всегда было закрытым, и это еще больше будило воображение. Почему-то казалось, что именно в таком доме с приветливым зеленым палисадником и таким «вкусным» окном должна жить муза настоящей поэзии. Та самая «не терпящая суеты» и величавая. Истинная хозяйка своего дома – служанка и госпожа в одном лице.

То милое окно так и не открылось. Ни разу не отдернулись «румяные» занавески. Видно, я проходила всегда в неурочное время: сад к моему приходу уже был полит, и тяжелые капли еще дрожали на тугих листьях, а оконные стекла сверкали чистотой.

Но отделаться от впечатления, что именно в таком доме можно «отдохнуть душой» и настроить ее на творчество, я не могла. Вернее, тогда впервые, еще интуитивно я почувствовала: творчество требует порядка. Внутренней строгости, стройности мысли. А в беспорядке, хаосе оно рассеивается как свет далеких звезд. Для описания картины беспредельного космоса это звучит красиво: через миллионы световых лет до нас доходит рассеянный звездный след. Но земное творчество более осязаемое, плотное, зримое и неряшливость может погубить его.

Второй раз дом, где можно «отдохнуть душой», встретился мне совсем недавно. И тем сильнее оказалось его очарование. Но обо всем по порядку.

Бакинские осенние дожди можно охарактеризовать поговоркой – редко, но метко. Действительно, в нашем солнечном городе дождь нечастый гость. Но уж если зарядит, особенно осенью, так основательно, на несколько дней. Воздух словно покрывается белесой тканью: небо и земля заволакиваются туманом, и предметы теряют очертания. Жизнь на какое время выпадает из реальности. Существует только одна реальность – звуки воды. Шуршащие, шелестящие, вздыхающие, вкрадчивые – вся эта водяная симфония обрушивается на город. И он, истомленный долгим летом, внимает ей благодарно и чуть удивленно. Какими чистыми, промытыми до последней щербинки становятся после дождя асфальт и стены домов, как остро ипряно пахнет воздух – капустой, мелкими хризантемами-дубками, кипарисами.

Если выпадает возможность, я люблю бродить в первые часы после дождя.

Ворошить прелые листья, смотреть, как важно вышагивают мокрые вороны. Поздней осенью других птиц, кроме них и воробьев, нет. Но мне они милы. Это птицы-урбанисты, пернатые стражи города, они верны ему в любое время года.

Вдыхать запах свежего хлеба из ближайшей тендирной. Там в огромных круглых глиняных печах-тендирах с утра и до позднего вечера выпекают ароматный чурек, посыпанный черным тмином.

Вслушиваться в гул жизни. То там, то здесь кипит работа: кто-то что-то чинит, кто-то что-то продает или покупает.

В первые минуты после дождя непременно надо пройти мимо мастерских по ремонту техники! Бог его знает, почему, но влажное железо, кожа и резина отчаянно пахнут черносливом, и этот запах так крепок и обманчив, что привлекает к себе простодушных прохожих:

– Почем чернослив?

– Какой чернослив, дорогой? Где ты видишь чернослив? У меня на голове?! У меня мастерская! Мас-тер-ска-я! А сухофрукты на базаре! Странные люди, честное слово!

Как могло получиться, что сотни раз я проходила мимо этого заросшего жимо-

лостью двора и не замечала его прелести? Только издали смотрела на деревья граната и хурмы – вершины их были украшены оранжевыми и красными плодами. Видно, их было невозможно снять, и они висели сейчас на облетевших деревьях как новогодние игрушки.

Но заржавленная зеленая дверь, почти незаметная под жимолостью, всегда была закрыта. До того недавнего ноябрьского дня, когда жизнь еще раз доказала – удивительное в ней случается на каждом шагу.

В проеме зеленой двери показался силуэт женщины с веником. Она подметала палые листья.

– Здравствуйте, – негромко окликнула она меня. – Вы мне не поможете? – она указала на большой пакет с листьями и добавила смущенно: – Пожалуйста. Не могу дотащить до мусорки.

Я помогла ей оттащить мусор. Она кротко поблагодарила и прибавила:

– Не уходите. Посидите со мной немножко. Меня Гюлара зовут. А вас я знаю. Вы в доме напротив живете, верно? Вы – учительница?

Не знаю, почему меня все принимают за учительницу. Хотя...

– Я часто встречаю вас в магазинах. Вы говорите очень медленно, и все подробно объясняете.

Надо же! За мной, оказывается, наблюдали.

– Мне нравятся люди, которые говорят медленно. Терпеть не могу, когда стрекочут, голова от них болит.

– Спасибо, – пробормотала я.

– Проходите в дом, я вас прошу. Вы не торопитесь? Хоть чашку чая выпейте. Пожалуйста!

Что-то было сиротливое в этих тусклых карих глазах, в нервном изломе правой брови и даже в сбившейся набок прядке волос. Гюлара, видно, красила их хной, но теперь они выцвели и приобрели странный оттенок разбавленного кваса – рыжина с проседью. Я вошла в комнату.

Дом был из разряда тех, в котором «отдыхаешь душой». Мерно стучали небольшие настенные часы, круглый стол в центре комнаты был застелен плюшевой скатертью. И зеленые плюшевые занавески украшали маленькое окно. На подоконнике цвела красная герань. За темными стеклянными дверцами шкафа золотился чайный сервиз. Полосатый кот на диване окинул меня презрительным взглядом и продолжил спать.

У меня заняло сердце. Такие плюшевые скатерти и занавески, дощатые крашенные полы, покрытые узкими ковриками, я видела только в детстве. На все эту благодать, даже на герань, безжалостно навешивался ярлык «узкого мещанского мирка». Считалось, что это тот самый злосчастный быт, который отвлекает от более важных дел и съедает жизнь. На самом деле только в нем, под уютным светом абажура, за чаем с каким-нибудь особенно вкусным вареньем – абрикосовым или клубничным – становилось легко и свободно душе. Наступало то состояние, о котором писал Чехов – «дышится мягко, славно».

Но кроме плюшевых гардин, герани, кота и скатерти в доме было нечто такое, от чего человек замирал на месте. В комнате царили два «А». Айва и Ахматова. Царили – это мягко сказано. Императорствовали.

Плоды айвы были повсюду: на столе, на полках в шкафу, на подоконниках, даже под кроватью на большом листе бумаге. Сам воздух словно был наполнен их золотистым свечением. Их тонким ароматом были пропитаны стены.

На стенах же не было свободного места. Они были увешаны портретами Ахматовой. Анна Андреева в младенчестве, молодости, с мужем и сыном, с распущенными волосами, с высокой прической. Ахматова в среднем возрасте, в старости, в рисунках Модильяни. В профиль, анфас, в четверть оборота.

Подобное в своей жизни я видела только раз. У педагога своей дочери. Она преподавала историю и была влюблена в эпоху Нефертити. Все стены, книжные шкафы и столы были заставлены портретами, статуэтками и чеканками с обликом Нефертити. Даже на ковре был выткан знакомый длинношей профиль в высокой шапке. В комнате всегда царил полумрак, и от обилия этих Нефертёт становилось жутковато. И сейчас мне стало чуть тревожно.

Женщина внесла в комнату две маленькие чашки с чаем и вазочку с айвовым вареньем.

– А, засмотрелись?! – улыбнулась она. – Все удивляются!

– Вы любите Ахматову? – спросила я.

– Да, очень. А вы нет?

– Как вам сказать, – замялась я. – Некоторые стихи мне нравятся, но в целом...

Нет, не могу сказать, что это мой любимый поэт.

– Значит, вы – цветаевка! – убежденно и даже категорично сказала Гюлара. – Иного не дано!

– Ну, зачем так строго делить, – засмеялась я. – Просто... Ахматова – величественная, а Цветаева – великая, понимаете, – я окончательно сбилась с толку.

– Садитесь! – видно было, что Гюлара давно мечтала поговорить о том, что ей дорого. – Я ведь в школе преподавала русский и литературу. 34 года стажа. Сейчас на пенсии. Но Ахматову тогда не изучали. А я находила ее стихи, переписывала, сколько читала и ее, и про нее. Сейчас, конечно, все уже известно, все можно в интернете найти.

Она умолкла. Пауза затянулась. Я не знала, чем заполнить ее.

– У вас так много айвы. Красиво.

– Я люблю, когда пахнет айвой. Лучше всяких духов. Приношу домой еще незрелую, она доспевает в комнате.

– А я была в Фонтанном доме, – осенило меня. – В доме-музее Ахматовой в Петербурге. Там по всем комнатам разносится в микрофон запись ее голоса.

– Я тоже там была. У меня много времени. Своей семьи нет, семья брата – моя семья. Племянники – мои дети. – Гюлара улыбнулась. – Они в Москве живут. А я, когда к ним езжу, всегда в Питер наведываюсь. По музеям, улицам хожу. Скучаю без Питера. А еще я была в доме-музее Анны Ахматовой на Украине, в Хмельницкой области. В местечке Слободка-Шелеховская. Там похоронены ее мать, тетя и муж тети. Их фамилия была Вакар. К ним и приезжала молодая Анна погостить в 1896 и 1912 годах. И писала потом: «Я все праздники провела у тети Вакар. Правда, очень ворчлив дядюшка...»

Там каждое дерево ее помнит. Огромная каштановая аллея. Тополя и сосны. «Тополя тревожно прошуршали, нежные их посетили сны...»

И в этот дом-музей приносили все, что связано с Ахматовой. Местные жители без принуждения вернули в барское имение почти все, что разнесли оттуда по домам. Стол, за которым чаевничали вечерами со своей племянницей тетя и дядя Вакар, стулья с точеными ножками. Железная кровать, на которой в последний раз вздохнула и покинула этот свет мать Анны. Такая узенькая, словно девичья, под белым покрывалом...

*И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила, –
Ненужный дар моей жестокой жизни...*

– Об отце Ахматовой я много читала, – задумчиво продолжила Гюлара. – То, что он был нелегкого нрава, запрещал дочери публиковать стихи под своей фамилией – Горенко, и она выбрала себе псевдоним, взяв имя дальнего предка – ордынского хана Ахмата.

А вот о матери ее – Инне Эразмовне Стоговой – почти ничего не известно. А ведь именно она состояла в дальнем родстве с поэтессой 18-19 веков Анной Буниной, и родство это связывало Ахматову и с Иваном Буниным. Это о ней, об Анне Буниной, Ахматова написала в дневниках: «*В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была тёткой моего деда Эразма Ивановича Стогова...*»

Анна Ахматова гуляла по селу, по помещичьей усадьбе, доходила до источника. Как считают местные жители – со святой водой. А дорога к нему ведет вдоль сельского кладбища «*А я иду, где ничего не надо, Где самый милый спутник – только тень. И веет ветер из глухого сада, А под ногой – могильная ступень.*»

К источнику, к которому она шла, сейчас отовсюду идут. И не потому, чтобы «повторить» ее дорогу. Вода эта исцеляет больных и дает силы здоровым. И так тихо, славно кругом, что душа радуется. Сказка – не рассказать, а увидеть надо. Тут, хочешь-не хочешь, а поэтом станешь, если не настоящим, то в душе.

Я невольно повторила про себя эти слова: «*И так тихо, славно кругом, что душа радуется.*» И в который раз захолонуло сердце от их неизъяснимой прелести. И как хорошо, что есть такие тихие пристани – в Фонтанном ли доме в Санкт-Петербурге, в доме-музее ли на Украине. Что тихий свет добра и уюта лелеет душу поэта.

Мне пора было уходить из гостеприимного дома. Сгущались сумерки.

– Ну, как? – улыбнулась Гюлара. – Примирила я вас с Ахматовой? А какое стихотворение вам больше всего нравится?

– В юности нравился «Сероглазый король». Потом про девочку, «что свой плетет венки».

– А сейчас? Погодите, я угадаю. И она нараспев продекламировала:

*Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.*

*Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.*

– Верно?

– Точно!

– А вы говорите – не любите Ахматову. Просто у каждого она своя. Заходите, когда будет время.

Я возвращалась домой. Темное небо опять заволочли тучи. Накапывал дождь.

«Века уходят в непроницаемую мглу – думалось мне. – И ничего не останется от них: ни войн, ни раздоров, ни смертельных болезней. Все поглотит время. Кроме одного – человеческого таланта и душевности. Они одни способны прорезать все-ленский мрак ярким лучом. И неважно, как зарождается этот луч. Может быть, исток ему – спасительный свет дома, в котором можно «отдохнуть душой»?» Кто знает?..

Сумевший

В благопристойной до зевоты массе наших соседей Анатолий Новгородцев выделялся редкой суетливостью. Выражалась она в том, что мир бакинского двора, привыкшего к негромкому перекидыванию костяшек нарда и неспешным разговорам за чаем, нарушался легким вихрем. Это проносился мимо дядя Толик – высокий, сутулый человек, очень похожий на поэта Маршака. Видимо, ему говорили об этом, и сходство ему льстило. Он даже зачесывал поредевшие волосы как на портретах Маршака и носил круглые очки.

Такие очки в середине 70-х годов прошлого века уже не пользовались спросом: в моде были квадратные в черной роговой оправе. Они сразу же прибавляли возраста и солидности, и к обладателям их обращались почтительно: «учитель» или «учительница». Обладатели квадратных очков мгновенно исполнялись величием. Они даже по улице старались вышагивать степенно, чтобы не расплескать волшебное чувство собственной значимости.

Но дядя Толик был напрочь лишен даже намека на значительность. Наверно, поэтому его – школьного учителя математики с 30-летним стажем – никто не называл по имени: Анатолий Ильич. Только дядя Толик. Старшие окликали вообще кратко: «Толик!»

И еще дядя Толик не расставался с потертым донельзья и разбухшим портфелем. Бог его знает, какие формулы и вычисления хранились в нем, но дядя Толик оберегал его с яростью медведицы, защищающей своего медвежонка.

– Толик, остановись, взрослый человек, а носишься, как мальчишка, – пытался усовестить его аксакал двора Рамиз – воплощение степенства и многовековой восточной мудрости. – Присядь, в нарды сыграем, чай выпьем. Кроме тебя, носиться некому, что ли?

– Да-да, – растерянно, словно вспомнив о чем-то, тер лоб дядя Толик. И смущенно, больше чтобы не обидеть, присаживался на край щербатой скамьи.

– Да оставь ты свой портфель! – восточная невозмутимость постепенно покидала Рамиза. – Его что, скушают, что ли?! Положи на край, сядь по-человечески, отдохни, что ты его к себе прижимаешь? Бедная женщина – твоя жена! Она не ревнует? – Рамиз лукаво подмигивал Толику, но тот ерзал, напряженно улыбался и наконец под любым предлогом срывался с места.

– Э-эх!! – ворчал вслед Рамиз. – Беги! Из тебя человека не будет! Недотепа! всю жизнь прыгаешь-бегаешь, как заведенный. Что беги, что не беги, все равно – конец один...

Валя – жена Толика – была ангельски кротким существом. Как-то раз и навсегда она смиренно приняла свое пятое место в жизни мужа после обожаемой дочери Леночки, шахмат, которым ее маршакообразный муж отдавался до самозабвения, математики и прадедовской семиструнной гитары. Та была семейной ценностью в семье Новгородцевых и, может, так провисела бы на стене, переходя от поколения к поколению, если бы не педантичность дяди Толика. Тому – а как же, математик! – невыносима была сама мысль, что в его доме что-то не применяется по назначению. И вот, раздобыв самоучитель, он запирался вечерами на кухне и терзал и мучил ни в чем не повинный инструмент. Тот ныл, визжал и стонал под неуклюжими пальцами, но дядя Толик был неумолим. Через три месяца гитара перестала издавать вопли насилюемой кошки. Звуки стали мелодичными, а затем и вовсе обрели бархатистость и благородную глубину. Дядя Толик торжествовал. Валя и Леночка уже было вздохнули с облегчением. Но не тут-то было.

С маниакальностью алхимика дядя Толик принялся что-то подбирать на гитаре, пробовал, сердился, ударял по струнам, что-то лихорадочно записывал на разлино-

ванных листах бумаги, снова подбирал, бросал в сердцах гитару и тут же подбегал к ней снова. Жаль, что жили Новгородцевы на пятом этаже. Если бы можно было заглянуть в окна их дома, зрелище бы предстало прелюбопытное: взъерошенный сутулый человек в круглых очках мечется от стола к диванчику, берет несколько аккордов, бросает гитару, возвращается к столу, что-то пишет, потом снова бежит к диванчику. словно исполнялся какой-то танец – весь из ломаных резких линий. Но, увы, наблюдать этот странный и одновременно завораживающий танец могли только любопытные воробы, да маленькие зимние звезды.

Дядя Толик часто играл с моим отцом в шахматы. До изнеможения они могли просиживать над шахматной доской. Оба нахохленные, сосредоточенные, они напоминали больших птиц, склонившихся над добычей. Моя мама и тетя Валя относились к этому увлечению своих мужей иронически. Чем бы дитя ни тешилось...

Иногда, после особо удачного хода, дядя Толик позволял себе нарушить молчание:

– Куда, говоришь, собирается дочка поступать?

– На филфак или педфак. Русский язык и литература, – сокрушенно разводил руками папа. Его мечтой для меня был медицинский, но тут уже я наотрез воспротивилась!

– Так это же замечательно! – радостно потирал руки дядя Толик. – Как писал Фраерман: «Литература – наука нежная». Значит, у дочки душа нежная.

– Не знаю, – уклончиво отвечал папа и помахивал в воздухе слоном, выбирая, куда его поставить. – Образование будет, а специальности – нет. То ли дело – врач. Всегда верный кусок хлеба.

– Поражаюсь я тебе, – моментально вскипал дядя Толик. – Образованный человек, такую библиотеку собрал, а говоришь черт знает что. – Детка, – обращался он ко мне, – не слушай папу. То есть слушай, конечно, но не в этом. Тебе шах! – это уже к папе. – А ты приходи послезавтра к нам, я тебе дам книги для подготовки в вуз, – это было уже ко мне.

– У меня есть книги, – слабо парировала я. – Много учебников.

– Это не учебники, – смеялся дядя Толик, и маленькие глаза его под круглыми стеклами затуманивались.

Послезавтра настало. И, держа в руках коробку пирожных, я поднялась на пятый этаж.

Встречали меня на пороге всей семьей. Леночка – студентка химфака, тетя Валя в нарядном платье и вышитом переднике и сияющий дядя Толик. Пирожные я сразу же вручила хозяйке дома, Леночка, поздоровавшись, ушла в свою комнату, а дядя Толик, чуть ли не пританцовывая, вынес из гостиной гитару.

– Вот, – объявил он торжественно, – дорогая моя соседка, которая готовится поступать на филфак, ты что-нибудь слышала о поэте Веневитинове?

Я покачала головой. О таком поэте в свои 16 лет я не только не слышала, но даже выговорить бы его фамилию не смогла.

– А говоришь, собираешься на филфак, – укоризненно хохотнул дядя Толик. – Садись и слушай! Такого ты нигде не услышишь! – в голосе его звучала детская победная радость.

Тетя Валя при этих словах иронично усмехнулась. И усмешка ее означала: «Слушай, детка, внимательно, такого ты точно нигде не услышишь!»

Дядя Толик взял для приличия несколько аккордов вразнобой, и вдруг лицо его побледнело, глаза расширились. Пушкин назвал бы это состояние приближением Бога. Но привычнее назвать это одухотворенностью.

Некрасивый сутулый человек в смешных круглых очках на глазах становился утонченным, благородным, возвышенным. Семиструнная гитара звучала как средневековая лютня. В тихом голосе звучал шелест моря:

*В глухую степь земной дороги,
Эмблемой райской красоты,
Три розы бросили нам боги,
Эдема лучшие цветы.
Одна под небом Кашемира
Цветет близ светлого ручья;
Она любовница зефира
И вдохновенье соловья.
Ни день, ни ночь она не вянет,
И если кто ее сорвет,
Лишь только утра луч проглянет,
Свежее роза расцветет.
Еще прелестнее другая:
Она, румяною зарей
На раннем небе расцветая,
Пленяет яркой красотой.
Свежей от этой розы веет
И веселей ее встречать:
На миг один она алеет,
Но с каждым днем цветет опять.
Еще свежей от третьей веет,
Хотя она не в небесах;
Ее для жарких уст лелеет
Любовь на девственных щеках.
Но эта роза скоро вянет:
Она пуглива и нежна,
И тщетно утра луч проглянет –
Не расцветет опять она.*

– Ну, как? – тихо спросил дядя Толик, когда замер последний звук. – Понравилось?

Лицо его постепенно принимало обычное выражение.

Я опустила веки. Ни на слова, ни на кивок у меня просто не было сил. Чудо только что соткалось в горьковатом воздухе старой квартиры и теперь медленно растворялось в нем. Нежно тикали стенные часы, отстукивали время. За окном летел редкий снег.

«Так вот что значила его беготня, непоседливость, беспорядочное брнчание на гитаре. И мы еще подсмеивались над ним и называли недотепой! Волшебник!»

Кажется, в эту минуту мое шестнадцатилетнее сердце прикоснулось к той великой тайне, которую люди называют любовью. А как же иначе объяснить ту нежность, с которой взирала кроткая тетя Валя на своего мужа? И я поняла, что ее взор все еще очарован им.

К дяде Толику вернулась его привычная суетливость. Он похлопывал себя по ляжкам, потирал руки, шутливо покрикивал: «Чаю, чаю нам! Полжизни за стакан чаю!» По всему видно было, что он доволен произведенным эффектом.

Но чудеса продолжались. Он сделал большой глоток и произнес таинственно:

– Знаешь, что у меня в портфеле? Ноты к песне, которую ты только что слышала! Я сам их написал! – в голосе его дрожала такая искренняя радость, что я невольно поежилась.

Почему-то мне всегда становилось немного боязно при проявлениях открытой человеческой радости и горя. В первом случае мне хотелось произнести как мантру: не слезьте, не слезьте; а во-втором: это пройдет, не мучьте себя.

– Хочешь, я расскажу о нем? О Дмитрие Владимировиче. Коль уж ты собралась на филфак, тебе это будет интересно.

Он произнес: «О Дмитрие Владимировиче» так, как будто бы речь шла о давнем и очень дорогом знакомом. И, не дожидаясь моего согласия, нетерпеливо и даже как-то захлебываясь, начал:

– В четырнадцать лет он переводил Вергилия и Горация. В шестнадцать написал первое из дошедших до нас стихотворений. В семнадцать увлекался живописью и сочинял музыку. В восемнадцать успешно сдал выпускные экзамены в Московский университет и вместе с друзьями основал философское общество Любомудрия. Оно так и называлось! В двадцать впервые выступил в печати как литературный критик. И в двадцать один – трагически ушел из жизни... Вдумайся только – в двадцать один! Так мало прожить и так много успеть!

Глаза за круглыми стеклами очков пылали. Лучше было не перебивать, не проносить ни звука. Да и можно ли прервать живое чудо рассказа?

– В семье Владимира Веневитинова и Анны Оболенской – только вслушайся в музыку этих древних дворянских фамилий! – было трое детей: Алексей, Софья и Дмитрий. Но Дмитрий был всеобщим любимцем. Он был необыкновенно хорош собой, изумительно сложен, умен, тактичен и очень располагал к себе людей. Внешность греческого бога: беломраморное лицо, тонкие черты лица – благородный красавец!

В 17 лет он увлекся философией, да так, что получил прозвище «поэт мысли» – настолько огромен был его талант. Откуда бралась в нем эта глубина? Он, юный, почти мальчик, писал так, будто знал о жизни нечто, порой неведомое и старикам! Его переводы Гете были самыми лучшими, а научные статьи вызывали восхищение и немного зависть. Кстати, по поводу критической статьи, написанной им на «Евгения Онегина», Александр Сергеевич сказал так: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием». Пушкин захотел познакомиться с Дмитрием и был очарован его умом и образованностью. И еще... Они ведь были дальними родственниками. Веневитинов был четвероюродным братом Пушкина. Именно с него писал Пушкин своего Ленского.

Я сидела, не шелохнувшись. И так же замерла в дверях комнаты тетя Валя. Лицо ее было немного усталым и нежным. Леночка тоже стояла в дверях своей комнаты и тихо грызла яблоко. Дядя Толик рассказывал о своем кумире, и лицо его светилось. Он сыпал фактами, будто боялся не успеть, потерять нить внимания:

– За два года до смерти Веневитинов поступил на службу в архив Коллегии иностранных дел. Это про его работников Пушкин говорил с иронией: «архивны юноши». Дмитрий Владимирович считал, что поэзия неразлучна с философией, а философия – есть внешняя поэзия. В 1825 году, после восстания декабристов, «Общество Любомудрия» было распущено и все его документы сожжены. В 1826 году Веневитинов переехал из Москвы в Санкт-Петербург и стал работать в министерстве иностранных дел. А помогла ему с отъездом княгиня Зинаида Волконская. Слышала про нее?

Про красавицу Зинаиду Волконскую я читала когда-то в книге Марии Марич «Северное сияние». Книга была посвящена декабристам, и я, словно нарочно, читала ее в декабре. С тех пор образ декабристов был овеян для меня не только романтическим ореолом, но и ожиданием Нового Года. Я полуутвердительно кивнула, но дядя Толик не особо и нуждался в моем ответе:

– Роковая княгиня! Красавица, умница! Ею восхищался Пушкин, она была избалована вниманием мужчин и вовсе не планировала очаровывать Дмитрия Владимировича. Но разве сердцу прикажешь?! Она была на пятнадцать лет старше, но он не видел этого. С первой встречи его сердце принадлежало Волконской. Он ей признался. Лыстило ли это Зинаиде Александровне? Конечно. Однако чувств к нему она не питала. Но она была женщиной умной и очень проницательной. Быстро поняла,

что страсть погубит юношу, и сделала все, чтобы спасти его от... самой себя. Они гуляли по Симонову монастырю, беседовали. Она улыбалась ему, он был счастлив. Для счастья порой хватает и улыбки...

Она упросила его покинуть Москву и отправиться в северную столицу. И в знак вечной дружбы подарила Дмитрию кольцо. Простой металлический перстень, Его нашли в пепле при раскопках Геркуланума – древнего города, разрушенного, как и Помпеи, извержением Везувия.

Друзья говорили, что Веневитинов никогда не расставался с перстнем Зинаиды и обещал надеть его только в двух случаях: или идя под венец, или умирая.

И та же Зинаида Волконская упросила Дмитрия взять с собой в путь француза по фамилии Воше. Он провожал в Сибирь, к мужу-декабристу, княгиню Трубецкую. И вот вместе с этим французом их арестовали при въезде в Петербург. Тогда арестовывали всех, кто имел хоть какое-то отношение к восстанию декабристов. Просто по подозрению, иногда безосновательно. Посадили в холодный карцер, скоро выпустили, но Дмитрий был и без того слабым и простудился.

Дядя Толик на мгновение умолк и залпом отпил остывший чай. Голос его дрогнул и зазвучал чуть глуше:

– Княгиня снилась ему. На одном из балов у друзей ему вдруг почудился ее силуэт... Знаешь, раньше, когда бал близился к концу, то лакеи постепенно гасили свечи. Это был целый ритуал: они важно вышагивали вдоль стен и дотрагивались до пламени гасильниками – такими длинными палками с наконечниками в виде перстков. И комнаты окутывались легким полумраком – каждый силуэт в нем был исполнен тайны. Помнишь лермонтовское «Исполнены тайны слова ее уст ароматных»? Вот так и здесь. Много ли этому влюбленному мальчику было надо?! Любая женщина, промелькнувшая в полумраке свечей, чуть блеснувшая глазами – может, это она, его мечта, его счастье?

Он выскочил на крыльцо. Нет, это была не Волконская, но Веневитинов долго простоял на ветру. Повалил снег, он продолжал стоять. А вдруг чудо все же возможно?

На следующий день он не смог встать. Начался сильный жар, воспаление легких. Друзья не оставляли его. Незадолго до смерти один из них надел на руку Дмитрия тот самый перстень. И тот пришел в себя на миг, спросил: «Я женюсь?» И снова впал в забытие. Через час его не стало. Лицо его было спокойным и очень красивым. И перстень из Геркуланума был на его руке.

Дядя Толик перевел взгляд на гитару. Та сиротливо лежала на диванчике и словно тоже слушала.

– Его похоронили при московском Симоновом монастыре, – продолжил дядя Толик уже медленно и каким-то бесцветным голосом. – И вот жестокость судьбы – именно Зинаиде Волконской пришлось сообщать матери Дмитрия о его смерти. В свете поползли слухи о том, что он покончил с собой. И тогда Волконская уехала в Рим, чтобы быть подальше от разговоров.

Но однажды, вернувшись ненадолго в Москву, она отправилась пешком в гости и заплутала в переулках. Дорога сама вывела ее к дому Дмитрия Владимировича. И тогда она стала молиться у его стен и плакать о юноше, который любил ее всем сердцем.

А спустя много лет сбылось предсказание о перстне-талисмানে, написанное Дмитрием в одном из стихотворений.

*Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя откроет вновь...*

В 1930 году старое кладбище решили уничтожить и перенести прах поэта на Новодевичье. Могилу Веневитинова вскрыли, перстень из Геркуланума передали в музей. Но вот тогда и обратили внимание, что руки Дмитрия лежали не на груди, как положено, а вдоль тела, как у самоубийцы. Но решили эту тему закрыть. Так и ушла последняя тайна Дмитрия Владимировича вместе с ним.

За 21 год он успел написать всего 50 стихотворений, несколько критических и философских статей. А словно бы огромную жизнь прожил, все высказал, все знал про себя:

*...Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе всё чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.*

– Вот ты можешь мне объяснить, как это? – дядя Толик впивался в меня взглядом, а стекла его очков сверкали как звезды. – Как мальчик мог это все предвидеть? Он ведь меньше Лермонтова прожил. Что за дар был у него?

– Не предвидел бы, может, и не сгорел так рано, – тихо отозвалась тетя Валя. И голос ее упал в тишину комнаты. – Светлый дар был у него. Но мучительный. Свет ведь тоже убивает, если его много.

Муж взвился было к ней, и вдруг как-то обмяк.

– Права ты, наверно... Может, и вправду – чем проще, тем лучше. – И умолк, задумавшись. Жена неслышно подошла к нему, пригладила взлохмаченные волосы и мягко, по-матерински, поцеловала. Леночка давно скрылась в своей комнате. Видно, рассказы отца она слышала часто и уже привыкла к ним.

Я тихо спустилась к себе на третий этаж.

– Ну, что? – встретили меня родители. – Интересно было? Толик – человек занятный, только чудаковатый. Но ты его слушай, он много знает. Тебе это может пригодиться при поступлении.

При поступлении это мне не пригодилось. Но уже на третьем курсе, изучая язык Библии, я прочла горькое изречение из Екклесиаста: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»

В этот же день совершенно неожиданно я наткнулась в газете на странную английскую фразу. Авторство ее приписывали Джону Леннону: «Living is easy with eyes closed», что примерно означало: «Жизнь легка для тех, кто закрывает глаза».

И сравнив эти два изречения, вспомнила Анатолия Ильича Новгородцева, незабвенного нашего дядю Толика, впервые рассказавшего мне о Дмитрие Веневитинове. Юноше-поэте, сумевшем за 21 год прожить огромную жизнь.

*Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.
Кому небесное – родное,
Кто сочетает с сединой
Воображенье молодое
И разум с пламенной душой.*